

**Я ОТВЕЧАЮ
ЗА ВСЕ**



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВОТ МЫ И ДОМА

И тогда Варвара увидела лицо Устименки — с сильно выступившими скулами, с туго натянутой кожей еще болезненного, больничного оттенка, с темными бровями, лицо, мокрое от дождя. И вдруг удивилась: он стоял над этими развалинами так, как будто не замечал их, как будто не развалины — уродливые и скорбные — раскинулись перед ним, а огромное ровное поле, куда уже привезены отличные материалы, из которых строить ему новое и прекрасное здание — чистое, величественное и нужное людям не меньше, чем нужны им хлеб, вода, солнечный свет и любовь.

Делатель и созидатель стоял, опираясь на палку, под длинным, нудным, осенним дождем. И не было для него ни дождя, ни злого, тоскливого, давнего запаха разорения и пожарищ, не было ничего, кроме дела, которому он служил.

— Милый мой, — плача и уже не вытирая слез, тихо и радостно сказала Варвара. — Милый мой, милый, единственный, дорогой мой человек!

— Можно ехать? — осведомился шофер. Ему и жалко было свою пассажирку, и противно, что она так «сильно переживает» из-за этого хромого обалдуя, который неизвестно что потерял здесь, на пустыре.

— Ну что ж... поезжайте... — сквозь слезы ответила Варвара, все еще вглядываясь в расплывающийся под дождем, уходящий в развалины силуэт Устименки. — Поезжайте. Теперь все.

Устименко оглянулся — ему мешал сосредоточиться звук буксующего в грязи таксомотора, этого разбитого немецкого ДКВ. Черт знает о чем он думал все нынешнее утро, этот делатель и созидатель, каким он показался Варваре издали. Если бы она увидела Володю поближе, от нее бы никуда не спряталось выражение растерянности в глазах, так ему несвойственное.

«Зачем я сюда приехал? — спросил Устименко себя еще на станции, там, где строилось здание нового вокзала и где уже вышались монумент вождю народов. — Зачем? Разве мало мне предлагали городов, где мог бы я работать?»

Он вытащил чемоданы и кошельки из вагона — Вера умела мгновенно обрастать вещами — и еще раз огляделся: Варвары не было. Тогда он пошел за своим австрияком. Гебейзен в дурацкой шапочке-бадейке и в сильно поношенной офицерской шинели медленно оглядел из тамбура будущий вокзал и осторожно спустился на перрон.

— Битте! — сказал Евгений. — Битте, герр профессор!

Они заговорили о дороге за его спиной, а Устименко все ждал, что Варвара появится. Ждал и не признавался в том, что ждет именно ее. И хотя он отлично знал, что не таков ее характер, чтобы дружески встретить «старого товарища», ему стало и обидно, и тошно, и обозлился он. «Да за каким бесом именно сюда я приехал?» Приехал и приехал, здравствуй, Унчанск, здравствуй, Евгений Родионович, вот познакомьтесь — моя жена, моя теща, моя дочка, все как у людей, и профессор при нас — знаменитый патологоанатом Пауль Гебейзен, гордость Австрии, упрятавшей своего знаменитейшего в лагерь уничтожения только за его веру в мощь Красного Креста.

...ДКВ наконец вышло из лужи, развернулось и уехало. А делатель и созидатель стоял под дождем и оглядывал свое будущее хозяйство со страхом, почти с ужасом. И это наглый Женька считал возможным «восстановить»? Очковтиратель и жирный вун! То же самое, что с квартирой, только похлеще. И Устименко вновь услышал иронический и кротко-презрительный голос Веры Николаевны: «Володя, и здесь мы будем жить? Но нас же четверо, Евгений Родионович! Может быть, Владимир Афанасьевич забыл вас известить, что он женат?»

Нет, Евгений знал, что Устименко женился. И что у молодых супругов есть дочка, ему тоже было известно. Правда, ему не сообщили о том, что красавица Вера Николаевна прибудет сюда еще и с мамашей, но и сам Владимир Афанасьевич об этом был поставлен в известность лишь за два дня до отъезда. Что же касается австрияка, то он обеспечен койкой в комнате на двоих в Доме колхозника. Это совсем неплохо!

Устименко даже встряхнул головой, чтобы прогнать вздорные мысли и сосредоточиться на работах, которые ему предстояло

осуществить здесь, где веяло апокалиптическим ветром разрушения. Теперь он видел своими глазами, что они бомбили и расстреливали больничный городок, словно терапия, хирургия, урология, гинекология и другие корпуса были военными объектами, имевшими крупное стратегическое значение.

Почему?

Мертвое, как известно, молчаливо. Кто мог поведать, что именно здесь учинили фашисты после бессмертного подвига Ивана Дмитриевича Постникова, сорвавшего им так педантически разработанный план операции «Мрак и туман XXI»? Мертвые молчали, а живые палачи на эти темы предпочитали не болтать. В те времена их еще, случалось, вешали.

«Но я же не строитель, — раздраженно хмурясь, думал Устименко, — я во всяких этих строительствах абсолютно темный человек. Да и строитель не каждый с таким разворотом управится. И не то что не каждый, а особенный нужен, крупный, талантливый. Где я такого возьму? Кто мне его даст? А если дадут, то какого? И когда я пойму — что он за строитель?»

Пугаясь будущего и сердясь на себя, на свое легкомыслие и на Варвару, из-за которой он поехал сюда, Устименко все ходил и ходил под дождем, упираясь палкой в битые кирпичи, в ржавое железо, в искореженные, вылезшие из земли трубы, все оглядывал воронки, в которых стыла бурая вода, все хмурился и хмурился на разодранные оконные проемы бывшей онкологии, откуда с шумом вылетали нахохленные голуби.

«Да и зачем здесь главный врач? — спрашивал себя Устименко. — Ведь так же не делается — главный врач на пепелище. Главный врач потом приходит — уже в больницу. Он недоделки замечает и на них обращает внимание строительной организации — вот как это должно быть!»

А почему именно так должно быть?

В памяти его хранилось то, что он читал: в давние времена и в Петербурге, и в Москве, и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе прославившиеся впоследствии больницы и клиники непременно строили сами доктора. Они, настоящие главные доктора, а не главврачи-смотрители, настоящие врачеватели, а не чиновники от медицины, воздвигали свои больницы вместе с архитекторами, а не являлись на стандартное и готовое со всеми проторями и убытками, набежавшими к окончанию строительства, со всеми

глупостями, несовершенствами, головотяпствами и неудобствами. Те — главные доктора — сами проектировали посылно, но удобно для своей науки, а не для подрядчиков. Они строили вместе с архитекторами, бранясь и считая казначейские билеты в казне, строили, совместно следя за ворами-подрядчиками, во время одергивали и казнокрадов за руки хватали, они выгоняли жуликоватых или неумелых и достраивали так, чтобы потом не жаловаться — я-де попал как кур во щи, меня-де подвели, мне-де с моей медицинской ученостью не до таких мелочишек!

Нет, уж если ты пошел в главные врачи, подразумевая за главврачом главного доктора, а не зрителя, то будь любезен и начинать с самого, что называется, начала: построй себе больницу, в которой и сможешь сам отвечать за все перед собственной совестью. Тебе оперировать, тебе лечить, тебе ставить на ноги, тебе и врачикам, как говорят, «создавать условия» — вот и создавай, а не вали на чужого дядю, как не валил, кажется, в годы войны, которая, разумеется, кончилась, но в такое обошлась, что еще не скоро можно будет всем заниматься исключительно своими специальностями по мере сил и умения...

Думая так, он обтер мокрое лицо большими ладонями, обтер рукой и волосы — сразу потекло за шею. Изуродованная взрывом, проржавевшая железная балка лежала перед ним, вздымаясь вверх, на груде битых кирпичей. Опираясь на то, что Верина мамаша называла изысканно — «ваша тросточка», Устименко взобрался по балке на кирпичи, по кирпичам — к пробойне в стене и вдруг узнал вестибюль постниковской клиники: конечно, здесь была вешалка, тут сидела дежурная сестра, там, у лестницы, обычно собирались студенты перед тем, как Иван Дмитриевич вел их в палату.

На душе у него вдруг стало скверно — вспомнился Постников, как стоял он тогда, в сорок первом осенью возле военкомата, словно бы всеми брошенный, и как сказал виноватым голосом, что его «не берут, потому что уже поздно». И эти его горькие слова — «насильно мил не будешь!». Не злобные, а именно горькие! Нет, не может того быть, чтобы правым оказался Женька. Вот разве Жовтяк...

Но и про Жовтяка ему трудно было представить себе такое. Трудно, как ни был ему всегда противен этот человек. Трудно, потому что никогда не мог представить себе измену...

Над головой у него был кусок крыши, здесь не текло, но так же пахло глением и давним пожарищем, как и повсюду в больничном городке, и так же не было слышно никаких человеческих голосов, как и повсюду на этой разбитой, разодранной, вспаханной плугом войны земле.

«Подниму все?» — опять мысленно спросил у себя Устименко. Впрочем, если по совести, он спрашивал вовсе не у себя. Он спрашивал у Варвары, хоть, конечно, и не сознавался в этом.

Помимо своей воли, думая о том, что было у него перед глазами, как бы рядом, где-то здесь же, вспоминая клинический парк и Варвару и как они ходили тут, когда росли здесь старые, густолистые липы, дубы и клены, от которых даже пней не осталось нынче, он вел разговор с Варварой — со своим всегдашним кротким судьей и начальником.

— Подниму?

Она сказала, что он поднимет. Воображаемая Варвара.

— Не могла встретить! — сердито посетовал он.

Ответа не последовало.

— Архитектор-строитель нужен толковый, — пожаловался Устименко. — Где я его возьму? Подсунет твой Евгений какого-нибудь морального урода!

Он отлично знал, что бы она сказала. Она сказала бы, что он и сам справится.

— Так я же врач, — огрызнулся Устименко. — А ты вечно даешь советы в делах, в которых не понимаешь. И какой нам прок оттого, что я останусь. У нас же разные жизни. Я изломал свою, ты свою. Где Козырев?

Конечно, она не ответила — она всегда знала, о чем именно не следует говорить. Но он отлично знал, о чем бы она заговорила. Она заговорила бы о том, что его самого грызло:

— Ты же не сможешь удрать из города, где тебя учил Полуинин? Помнишь, как я без тебя возила на его могилу цветы? А как мы сидели в саду, когда ты видел его в последний раз? А Постников твой? Ну хорошо, я дура, это известно, а как бы к этому отнеслась тетка Аглая? Не волнуйся, Володечка. Выстроить больницу по-своему — это большущее дело.

— Не дадут по-своему! — рассердился он. — Рассуждаешь, как девчонка. Я получу стандартный проект и буду с ним крутиться как белка в колесе.

— Ах, беденький! Что же делать, поборешься, еще повоюешь. Или ты вернулся со своего флота слишком нервным? Ничего, Володечка, выдюжишь! Ведь почему — стандарт? Ты же сам понимаешь! Чтобы не мотать казенные, народные деньги зря, чтобы хапуги и дураки не упражнялись в изобретательстве. А ты можешь! Ты — умный! Ты подправишь стандарт так, что он впоследствии станет лучшим из стандартов и его назначат главным начальником больничных стандартов, бюрократов ты сокрушишь, не сомневайся, мужик ты крепкий...

Он даже улыбнулся на мгновение, так ему было приятно разговаривать с самим собой при помощи Варвары. Сейчас она как бы представляла перед ним интересы Унчанска, перед ним, перед эдакой «столичной штучкой», но не перед ним нынешним, а перед настоящим. Он как бы кривлялся, и заносился, и понимал это, а Варвара была его сутью, им самим — главной его сутью, а не перестраховщиком, мужем Веры Николаевны и отцом Наташи, имеющим еще тещу Нину Леопольдовну, ранение в ногу, искалеченные руки, седеющую голову и сборник высказываний жены по поводу его неудачнейшего назначения!

А если бы она еще увидела то, что ему надлежит восстановить!

— Представляешь? — спросил он у Варвары.

— Вполне! — ответила ему Варя.

В сущности, рассуждал Устименко, если ее нет здесь с ним в вестибюле, то имеет же он право с ней посоветоваться? Ему приятно представлять себе такую беседу, отношения их должны определиться раз навсегда, почему же не сохранить дружбу? Ведь они люди, ведь он даже приехал сюда только потому, что...

Но тут он не позволил себе разводить ненужные мысли и сурово вернулся к делу. С чем кончено, с тем кончено, а вот представить себе, как бы Варвара говорила с ним о деле, имело смысл. Ведь не с Евгением же Родионовичем толковать, не с Верой советоваться...

— Нет, не справлюсь я, — решил он. — Не совладать! Вдруг решат строить один корпус, а я думаю...

— Ничего ты еще об этом не думаешь, — ответил он себе вместе с Варварой. — Совершенно ничего не думаешь. А может, и вправду нынче один корпус лучше дюжины. Ведь техника-то как рва-

нет в ближайшие годы. Если строить сегодня, надо, чтобы годилось не завтра, а послезавтра — вот как...

И вдруг вмешалась старуха Оганян.

— После войны нам будет трудно, — услышал он ее характерный голос — вечно она вмешивалась, когда ему было худо, вне зависимости от того, присутствовала при сем или отсутствовала, вечно делала ему выговоры и замечания. — Будет трудно, Володечка. Медсанбат — не масштаб для будущего, уйти в скалы — не выход из положения...

А Зинаида Михайловна Бакунина согласно закивала седой головой:

— Ашхен права, Володечка, абсолютно права!

— Я вас не признаю! — сказал он им всем троим. — Дайте мне собраться с мыслями. Я утверждаю...

Баба-Яга вновь его перебила.

— Вы утверждаете одно, а собираетесь делать другое, — сказала она высокомерным басом. — Вы, допуская, соглашаетесь и становитесь соучастником. Хотите хорошую больницу?

— Я врач, а не строитель!

— А Эрисман и Мудров? — спросила Оганян.

— А Пирогов и Боткин? — осведомилась Бакунина.

— А Захарьин, Остроумов, Филатов, Снегирев, Корсаков, Склифосовский? — голосом Варвары спросил он сам у себя.

— Может быть, вы оставите меня в покое? — хотелось ему задать вопрос.

Старухи-то оставили, но Варвара не уходила.

— Ты должен! — сказала или, наверное, сказала бы она.

— Что должен? — заорал бы он.

И она приложила бы свои маленькие ладони, маленькие, широкие и всегда теплые, к щекам, как делала это, когда боялась его грубостей и когда терялась в разговоре с ним.

— Чувствуют в театре! — сказал бы он. — Здесь не ваши штуки.

Здесь — дело.

Но так как она никогда его всерьез не боялась, то он бы услышал смешливое:

— Вот именно!

И долго бы большими шагами ходил взад-вперед, самовлюбленно предполагая, что думает сам, в то время как все уже было

бы predeterminedено ее странно справедливым, хоть вовсе и не могучим умом.

Он огляделся.

Страшно ему стало.

Дождь все стучал где-то по разодранной кровле, сквозняки шуршали, деловито ворковали голуби, а Устименко, сжав челюсти, напрягшись, чтобы не солгать самому себе и не убежать от себя, страшась и сердясь, ответил себе:

— Ну да, хорошо, конечно, из-за нее вернулся сюда, из-за нее, а из-за чего бы еще? Но только это все кончено, этому не быть никогда, детей не бросают из-за родительских штук, а я вам не Гамсун!

Почему — не Гамсун, он не знал, он его и не читал никогда, но так как Вера Николаевна часто хвалила Гамсуна за его тонкое понимание нюансов — слово, которое Устименко ненавидел, — то он и Гамсуна невзлюбил и теперь, уходя из будущего больничного городка и зная свою судьбу здесь, еще раза два словно ругнулся:

— Не Гамсун!

Этим «не Гамсуном» он и попрощался с Варварой надолго. Разумеется, она умно поступила, что не встретила его. «Иного я от нее и не ждал», — солгал себе Владимир Афанасьевич. Но думал он уже не о Варваре. Он искал строителя и думал о нем заранее сурово, но уважительно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В УНЧАНСК

Адмирала встречали хлебом-солью уже в новом доме, в «бунгало», как выразился Евгений Родионович, смаргивая слезинки и говоря приличную случаю, но не без юмора, речь. Дед Мефодий в брезентовом плаще, торчавшем коробом, стоял за плечом сына, оглядывая прихожую с лосяными рогами вместо вешалок, с низкой, хоботом, люстрочкой, с хитрым торшером возле узкого трюмо. Варвара, прижавшись к могучей отцовской груди, не стыдясь хлопала носом и терлась щекой о жесткое сукно адмиральского мундира. Первокласник внук Юрка стоял, широко расставив крепкие ноги, курносый, с челкой, держал в вытяну-

той руке букет осенних похоронных астр. Ираида, только нынче перекрасившая волосы в золотисто-соломенный цвет, старалась увидеть себя в трюмо и для этого вытягивала шею, но безрезультатно — мешал, как всегда и во всем, дед Мефодий.

— Ну вот, — заключил Евгений, передавая отцу кругленький хлебец с солонкой, — а теперь, батя, ты здесь хозяин и главный единоначальник!

Не выпуская теплое плеча Вари из широкой ладони, адмирал правой рукой взял хлеб и пошел прямо в распахнутую дверь столовой, где уже был накрыт стол к первому легкому завтраку. Дед Мефодий сунулся было за ним, но Евгений его добродушно, по-свойски одернул, сказав, что верхнюю одежду надобно снимать при входе и эдакими сапожищами нечего калечить новый паркет. Да и вообще не обязательно ходить всегда с парадного: есть черный ход через кухню, а там рукой подать до комнаты, отведенной в полное распоряжение старика.

— Вот в этом аспекте, дед, и разворачивайся! — посоветовал Евгений и слегка подтолкнул деда к крыльцу. — Привыкай к новой красивой жизни! Что-что, а старикам везде у нас почет!

Дед покорно послушался: его с грохотом вернули с небес на землю, и не без горечи Мефодий подумал, что-де зря заносился дорогой в мягком, роскошном вагоне, чувствуя себя папашей адмирала...

Кухня была новая, богатая, светлая, чем-то напоминавшая деду туалет в том международном вагоне, в котором они ехали нынче с сыном. Все белое, много кранов и невесть сколько ясного, сверкающего, светлого металла. И тархтело все так же, как в вагонном туалете, но не по причине движения поезда, а по причине жарки и кипения различных кушаний, которые готовились, видимо, к вечернему приему гостей. Орудовала тут костистая, патлатая, с долгим лицом и быстрыми движениями, незнакомая новая кухарка в белом больничном халате.

— Здравствуйте, — сказал дед искательно, — доброго вам почтения...

— Уголь привез? — спросила женщина. — Наконец собрался...

Дед чуть-чуть обиделся, но, зная жизнь, не подал виду — он отлично понимал, что теперь будет во многом зависеть от благо-расположения этой сердитой и быстрой дамы...

— А разве здесь на угле отопление? — осведомился он. — Ничего, угольком мы разживемся, но только я адмиралу нашему батя, мы совместно сейчас московским скорым прибыли...

Кухарка в это мгновение потянула из духовки противень с чем-то запекаемым и, согнав деда со своего пути, стала ругаться, что духовой шкаф «сжигает» сверху и не «берет» низ.

— Идите, идите отсюда, дедушка, — визгливо велела она, — идите, не стойте, как та лошадь...

Дед ухмыльнулся на чужое несчастье (он успел заметить, что мясное кушанье на противне изрядно подгорело) и пошел искать комнату, предназначенную для его проживания. Вначале старый Мефодий ткнулся в санузел, куда едва пролез в своем брезентовом плаще. Там он, не без удовольствия, покрутил краны и крантики, подергал ручку, потрогал колонку, пощупал красную и желтую губки, повздыхал на роскошь и благолепие и, заглянув дорогой исканий в два стальных шкафа, наконец нашел свою комнатку, где опознал собственные вещи — имущество, скопленное им за длинную, полную трудов, тяжелую жизнь: была тут его подушка блином, в сатиновой цветастой, для экономии в стирке, наволочке, его тощий тюфячок, одеяло лоскутное, заправленное, за полной трухлявостью, уже после войны в новую оболочку из коленкора, стояла на столике кисточка-помазок, лежала сточенная в гвоздик, сыном подаренная перед отъездом его в Испанию золингеновская бритва, висела на распялке и одежда — кителя Родиона, суконные, поношенные, брюки его же и кителя бумажные, которые Мефодий именовал «полушерстяными». Была и обувь в большом количестве — все это посылал старику Родион, и все это богатство дед Мефодий почти что не нашивал, потому что был после военных харчей и горького жития под немцами чрезвычайно тощ, вдвое против сына, а тратить деньги на перешивку стыдился, денежные переводы от Родиона приберегал, страстно мечтая вдруг что-либо подарить сыну — удивительное, небывалое и немислимое, как рассуждал он про себя...

В новой комнате старик посидел на краю узкой койки, поглядел в окно, подумал, как с весны займется огородиком. Ему хотелось есть и пить, главное — хотелось чаю, к которому он привык за эти дни в «богатом» вагоне, но идти без приглашения он не смел и все сидел, положив тяжелые ладони на колени, ссутулившись и глядя перед собою на ножки старого венского сту-

ла. Мысли у него были вялые, даже не мысли, а так, обрывки — сквозь дремоту. «Может, прилечь?» — спросил он себя, но испугался, что если ляжет, то уснет, а тогда его не станут будить, и он до завтра не напьется чаю...

Здесь, в его закутке, да еще и при его тугоухости, было совсем тихо. «А если они меня потревожить боятся, предполагают, что я с дороги прилег?» — смутно попытался себя утешить дед, но не утешил: было обидно на Варьку и на сына; тех, Женькиных, он в счет не брал, давно понимал, что он им только лишь неприятная обуза, как бы покойнице Алевтине-Валентине, которая хоть и погибла, как рассказывают, смертью героя, но при жизни много крови испортила деду Мефодию.

Из дремоты он попал в сон, повалился боком на койку и заспал обиды, потому что при суровой своей внешности был беззлобен, как малое дитя, а когда надолго заходил в ворчании и ругательствах, то — только по возрасту: восемьдесят три стукнуло ему еще весной.

Обдёрнув старый морской китель и ополоснувшись в санузле водой, дед сообразил, что уже вечер, и отправился в кухню к долголицей стряпухе в надежде попить чаю. Кухарка была выпивши, опять у нее все ходило ходуном, и от нее дед узнал, что Варя сразу же уехала на свою загородную работу, даже не завтракала, к деду наведывался сам генерал...

— Адмирал, — поправил Мефодий. — Родион Мефодиевич, морского военного советского флота — адмиралы...

— А для нас, женщин, все едино. Пришел, дверь открыл, а вы заспавшись. Он и не велел будить. Кушать станете?

— Гости-то вечерние собрались? — спросил дед, не сразу отвечая на вопрос.

— Собираются.

— Начальство?

— А кто их знает. Мне-то ни к чему.

— Начальство, — солидно подтвердил дед. — Раз Женька такие харчи завернул жарить-парить — для начальства. Он на себя жмот...

Из-за того, что сын приходил за ним, настроение у старика исправилось. Он сел за кухонный стол, покушал толченой картошки с огурцом и мясной подливой, помакал хлеб в селедочницу, где еще оставался соус из подсолнечного масла с горчицей, и при-

нялся за чаепитие, разговаривая на домашние темы с Павлой Назаровной, которую с ходу стал называть по-свойски — Назаровна. От него она впервые много и подробно узнала про семейство, куда определилась служить с нынешнего дня.

— Самая язвенная сука в нашем коллективе, — говорил дед, постреливая на стряпуху колкими глазками, — его, конечно, Ираидка. Папаня у ей был еще, ну тот, волею божьей, помре... Сухо дерево завтра пятница. — Старик застучал кулаком изнутри столешницы. — Ну тот был сука похлеще дочечки. Кипятку и то людям жалел. Ты, Назаровна, не мельгешись, примечай, чего тебе толкую, тебе им выть — для них служить. Я их наскрозь вижу — кто каков человек. Юрка, как я его прозываю, Егор, — парнишка ничего. Набалованный, спасу нету, у них и дохтур был, так тот его в задницу завсегда за свое вознаграждение поцелуями целовал. Известно: возвели мальчонку на великие верха. Но он ничего, добрый. Иногда закобенится, ему только не потакай. Евгений Родионович — как сказать? Ты не суди, что я тебе говорю. Это, Назаровна, для ориентиру, чтобы ты имела взгляд на суть и корень дела. В солдатах не служила?

— Да вы что? — удивилась Павла.

— А ничего: разве в нынешнюю войну службы для вас не было?

— Так годы же мои...

— Не в годах речь. В преданности родине речь. Плесни чайку, да покрепче. Сахару не сыпь — я прикусничаю от века.

— Вина вам налить? — осведомилась Павла.

— Ни боже мой! — сказал дед. — Мне еще с гостями гулять сегодня. Слушай-ка лучше...

И, хлебая чай, он рассказал с подробностями, что главный человек в семье, конечно, Варвара Родионовна — она и умна, и добра, и весела, и красива.

— С Евгением она вот так! — Дед сдвинул свои корявые кулаки один с другим. — И было это всю жизнь. Евгений — одно, Варя — другое. Оно и понятно...

Тут дед Мефодий надолго остановился на личности Евгения. Довольно точно, не щадя выражений, изобразил он черты характера молодого Степанова, которого не мог в свое время должным образом воспитать Родион Мефодиевич, ибо взял себе супругу с уже изготовленным ребенком.

— Так что и здесь они, наверное, Назаровна, на долгие времена не уживутся, — заключил он тему Евгения. — Не живут два медведя в одной берлоге, понятно тебе?

Павла кивнула. Слушать старика ей было чрезвычайно интересно. Теперь надо было понять, кто же все-таки самый главный и на кого нужно работать, кому угождать, кого слушаться беспрекословно.

— А ты догадайся! — подняв кверху корявый палец, значительно произнес старик. — Раскидай мозги вдоль и поперек. Прикинь!

— Товарищ генерал?

— Адмирал, — поправил опять Мефодий. — А знаешь, он какой адмирал?

— Морской?

— Адмиралы все морские. Он — Герой Советского Союза.

— Слышала.

— А через что?

— Через храбрость.

— Само собой. А еще через что?

— Дело не женское, дедушка. Вы разъясните.

— Через храбрость, Назаровна, но еще и через ум. Умно воевал. Мало людей побил, а врагу нанес расстройство и поражение. Он им дал прикурить — фрицам, товарищ адмирал Степанов, его даже в сводках верховного командующего поздравляли и поименно — Р. М., то есть Родион Мефодиевич. Я сам слышал уже после изгнания отсюда временно оккупировавших нашу территорию захватчиков.

— Но хозяин-то этому дому — Евгений Родионович?

— Женька, что ли? Женька над своей Ираидой и то не начальник. Он, Родион Мефодиевич, и Варвара.

— А Варвара Родионовна незамужние?

— Нет, — со вздохом произнес Мефодий, — незамужняя.

— Разводка?

— Глупости несешь. Кто такую женщину может оставить в разводе? Не разводка. Одинокая, и все тут...

— Да вы скажите, дедушка, я ведь никому...

— А такого, что никому, я никогда не изложу, — произнес дед, утирая чайный пот посудным полотенцем. — Я то говорю, что

им в ихние глаза не раз и не два лично высказывал. Это я тебе не секреты выбалтываю и не сплетни, а для твоей и нашей пользы, чтобы не было в твоей пальбе ни перелетов, ни недолетов. Чтобы ты службу знала...

И, заметив, что Павла собирается налить себе в стопку еще «вина», посоветовал:

— Раньше времени не напивайся. Родион Мефодиевич это страсть как не переносит. Считается — служебное время. Пойдешь на берег в увольнение — отдохни, а так — ни боже мой...

— На какой такой берег? — испугалась Павла.

Но дед Мефодий не ответил, по второму разу принялся закусывать после четырех стаканов чаю.

ЧТО ЗА УСТИМЕНКО?

Грузовик так и не пришел за ней. Конечно, проклятый Яковец повез «левый товар» — он даже не стеснялся об этом рассказывать: о своих доходах, о том, как он «толкает халтуры», — ну, погоди же, конопатый негодяй с челочкой! Ничего, она ему устроит веселый разговор, будет знать, как обманывать Варвару Родионовну Степанову. Ведь клялся же и божился, что не позже шести будет «как штык» возле Дома колхозника.

Впрочем, от всех этих угроз Яковцу ей-то было не легче. Она устала, промокла, ей хотелось лечь, хотелось отогреться за весь этот такой длинный день. И может быть, даже поплакать. Раза три за эти годы на нее вот эдак накатывало: все казалось ужасным, безысходным, жалким — и прошлое, и будущее, и нынешний день. Все представлялось не имеющим никакого смысла. И сегодня тоже так накатило.

— Дело пахнет керосином! — сказала она себе угрожающим тоном.

Но губы у нее дрожали. Если уж Яковец ее предал — значит она зашла в тупик, значит всем ясно, как она ослабела и сдала за эти дни ожидания. И зачем? Чтобы повидать его из такси и поплакать, как над свежей могилой? Пропади он пропадом, этот Устименко, что это за горькое горе привязалось к ней на всю жизнь, ведь даже в книгах не прочесть про такое несчастье! Везде говорится, что время — лучший лекарь, а ей чем дальше, тем

СОДЕРЖАНИЕ

Я ОТВЕЧАЮ ЗА ВСЕ	5
ПОВЕСТЬ	
О ДОКТОРЕ НИКОЛАЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ	801